

натолий
Пчелкин

КОМНАТА ЭХА



6 P2
1792

АНАТОЛИЙ ПЧЕЛКИН

кр 82
п 92

КОМНАТА ЭХА

✓
15784 (16) ад

Магаданское книжное издательство
1983

Художник В. М. Сагантаев

Пчелкин А. А.

П92 Комната эха: [Стихи] / Худож. В. М. Сагантаев. —
Магадан: Кн. изд-во, 1983. — 112 с., ил.

30 к.

Новая книга известного поэта-северянина. Для автора школа поэтической высоты — не только в достижении формального мастерства, но и в стремлении стать ближе к жизни, активнее участвовать в ее свершениях.

47.2.12-041
П М — 149(03)-83 20-83

84P7

© Магаданское книжное издательство, 1983

Поэзия,

ты — школа высоты.

Уча нас устремленности к полету
в бескрайний мир Любви и Красоты,
не заслоняй, сестра моя, черты
того, что от людей
неподалеку.

О музыки заманчивая высь:
«Прекрасное должно быть величаво!..»
А я скажу:

прекрасное — есть жизнь,
земная жизнь, в которой — оглядись —
Зло и Добро
суть равные начала.

И вещей смысл поэзии не в том,
чтоб с высоты свободного паренья
красивого посредством говоренья
зажечь любовь к прекрасному — симптом,
быть может,
лишь условного горенья.

Полет души —
не благодать, а борьба
добра со злом, прекрасного с уродством.
И потому,
сестра моя, судьба,

не воспитай в читателе раба
красивых слов,

да не гордился б сходством
высокого сиятельного лба
с возвышенным
душевым благородством.

ЧУКОТСКОЕ

И. Юрьеву

Здесь ветер особенно лют,
мороз по-особому жжется.
Но люди открытее тут —
в краю дефицитного солнца.

А в чем их открытость? Да в том,
что запросто в душу впускают,
как в жарко натопленный дом.
Теплу они цену-то знают!

Но, будь вы и гостем в летах,
и гостем высокого званья, —
в душе не ходите в унтах.

Душа —

она штука

живая.

1

Один как перст
меж льдами двух морей
арктических, суровый мой товарищ,
туманный остров юности моей,
кого сегодня
ты отогреваешь

от бурь и бед,
от полной немоты
ума и сердца, зрения и слуха,
в ком замер дух от чувства высоты
недостижимой ранее мечты,
мерцавшей в океане,
как стамуха,

и вот уже достигнутой? —
но нет! —
влекущей еще далее, за кромку
доступных осязанию примет,
где тьма бесшумно втягивает свет
в безмолвия разверстую
воронку,

а сердца стук,
и всполохи у глаз,
и головы счастливое круженье,
и смутный гул неведомых пространств
лишь подтверждают
это ощущение.

2

...Там,
под самым окном проплывая
(подоконник почти задевая!),
тяжело отдуваясь в тиши,
днем и ночью сновали моржи.

Впрочем, ночи и не было вовсе.
Выйди в час, и в четыре, и в пять —
будет в той же остойчивой позе
Ульвелькот у вельбота стоять,

и бинокля его окуляры
цвета неба и талой воды,
шеи вытянув,
словно гагары,
все-то будут оглядывать льды.

Выйдет Винклер,
пристроится рядом,
«беломорину» вынет, зевнет,
равнодушным директорским взглядом
вдоль немеряных далей скользнет —

как перчатку на руку примерит.
Но, величья и тайны полна,
не шелохнется даль.

Не изменит
свой привычный полет
тишина.

3

Ни плетеных решеток, ни ажурных оград.
Горизонт,
окаймленный горами,

ДОМ У ЛИМАНА

Евг. Сигареву

1

На рассвете,
словно катерок
из кипенья пены и тумана,
выплывет в сознании нежданно
домик мой дощатый у лимана —
юности далекий островок.

Будто к сновидению, прильну
к теплomu от солнышка окну,
стену просоленную поглажу.
Ты плыви,
скрипи, мой катерок,
в сильный шторм и в легкий ветерок
до поры, пока не вышел срок
такелажу.

2

Голодно ли, прокладно —
спирт закушу рукавом...
Домик мой — как шаланда
во времени штормовом.

Укачивало, не скрою.
И окрыляло — не раз...

Предательством и любовью
время пытало нас.

Но в мире,
таком широком,
всем жаждущим дружбы — друг,
не отвернул он окон
ни от одной
из пург.



✦
Форточку открываю.
К далям земным взываю,
глубью небес дышу.
Острый морозный воздух
в легких моих разверстых
покалывает. Спешу!

Зябко, —
лишь полдела,
нам стужу не проходить.
Страшно вовсе не тело —
жаль замысел
застудить.

✦
О трассы Колымской прогонная мощь!
Бессонным своим подчиняясь законам,
рыча, грохоча — как река, — день и ночь
ярится она у меня под балконом.

Уеду. Забуду. В иной стороне —
в гостинице сельской, в отеле столичном —
в полночной
космической тишине
вдруг слышу, как сердце грохочет во мне.
...А сердце
работает
в ритме привычном.

ЦАРЬ ПРИРОДЫ

В тиши лесной,
в глуши таежной
не слышен шаг твой осторожный,
лишь сердце ухает в груди:
«Постой. Послушай. Погоди».

А что годить-то? —
бог с тобой!
Не на разведку и не в бой
шагаешь ты тропой медвежьей,
такой откормленный и свежий,
еще румяный от парной,
и арсенал твой прикладной
включает инструмент
зловещий:

шнуры бикфордовы, топор,
ружье, ракетницу, лопату,
ножи охотничьи, и карту,
и кару — что за разговор! —
хозяевам

окрестных гор.

Тут если замирать кому,
то уж не сердцу твоему.

Где ты пройдешь — трава хиреет,
там все живущее не смеет

дышать в предчувствии беды,
там за версту пустыней веет
и от земли
и от воды.

О Царь,
природе ненавистный!
Твой путь — воистину тернистый —
тернист, увы, не для тебя...
О лес, о горы,
разъясните,
чем так он горд на этом снимке,
зайчишьи тушки
теребя?..

СТРАШНЫЕ ФИЛЬМЫ

Любителей
страшных кинокартин —
крошечных и многокилометровых, —
как насекомых особо заразных,
психически искореженных,
социально обезображенных,
в присутствии зрителей огорошенных
в стручок гороховый я б поместил
и отправил
к Главному из светил,
чтоб там
в одном из рядов опросных
их — как детей оплошных —
по части страшных кинокартин
всевышний
розгами
просветил.

Ибо
страшны не фильмы,
но все опасней — люди:
снаружи взглянуть,
одни серафимы,
а глянуть в нутро —
иуды.

✦
Выйду в скучающий лес,
в голые палки и елки —
в царство доступных чудес,
не представляемых без
запахов дыма и смолки.

Хворост у ног соберу,
спичку затеплю в ладнях.
Радостно встретив игру,
вспыхнет костер на ветру,
темень поежится в долах.

Клетку грудную сожмет.
Кто его, к черту, поймет —
сказкой повеет ли, былью,
влагой ли прелой пахнет,
звездной запахнет ли
пылью?

Но от вселенской тоски
или надмирной печали,
словно октябрьские дали,
вдруг
побелеют
виски.

✦

В этих снегах по плечи,
в бесстрастной их белизне, —
то тяжелей, то легче,
то зябче, то жарче мне.

Не ведает лишь покоя
лава моей души
в этой глуши по пояс,
в этой
глуши...



✦

Зимним днем, когда в тиши
льдинками летают звуки
и бесшумно —

как стрижи —
лыжники,
раскинув руки,

льдинки эти на лету
ловят радостными ртами, —
предынфарктники

сердцами
тоже рвутся
в высоту.

Разница, однако, в том,
что один из них
взлетает,
а другой, от страха, ртом
только воздух
и хватает.

День сияет. Даль звенит.
Сын по снегу семенит
и смеется.

И не знает,
что мне сердце леденит,
что так в жар его
бросает...

Когда весенний снегопад
на зимний снег падет — об этом
явление просто говорят
в народе:

«Внук пришел за дедом».

Но внука праздничный кураж
не тем ли вызван, чтоб мы сами
и серый день вчерашний наш,
и примелькавшийся пейзаж
его увидели глазами;

и чтоб осевшие пласты
вчерашних догм —

смесь льда и пыли —

с достоинством, без суеты,
но с чувством собственной тщеты
с почв плодородия
уплыли?..

А что там дальше,
что грядет
за днями вешнего разлива,—
подумай сам.

О том на диво
свежо поведал и сметливо
в других пословицах
народ.

Выходят валенки из моды,
одежда зимняя тесна
сердцам, пригубившим свободы
в дни пробуждения природы
от продолжительного сна.

Субботним утром,
в день воскресный,
лучась предчувствием чудес,
стряхнув вериги жизни пресной,
ручьями радостными — в лес
стекается народ окрестный.

И на полянах, меж дерев,
сняв пиджаки и пуловеры,
детшки и пенсионеры
свой хворост вносят в обогрев
прикарамкенской
атмосферы.

Горят веселые костры!
Перекликаются соседи,
как междузвездные миры,
сближая шумные пиры
парами выпивки
и снеди.

Гори, мой брат,
пылай, костер!
Отогревай от долгой стужи
зимы застойный разговор,
глазам открывшийся простор,
к теплу рванувшиеся
души.

НА ЗАБРОШЕННОМ ПОЛИГОНЕ

На заброшенном полигоне —
колесо довоенной тачки.
Ржавое. Ни к чему не пригодное.
А выбросить не могу.

Мы присядем с ним у отвала,
поросшего карликовой березой,
тальником, тополями...
Время.
Самое время думать.

Главное —
не торопиться
с выводами. Но память
катится,
как двуручная тачка
по наклонной доске.
Чем нагрузили,
то и везет.

Правда,
колесо иногда соскальзывает,
тачка опрокидывается,
и тогда сверху
оказываются
тяжелые,
золотые пески
подспудных воспоминаний.

Что скажешь об этом,
ржавое колесо?..
Рабочее колесо времени.
Колесо
жизни.

✦
От первой платформы отходит поезд.
Женщина вслед бежит.
Остановилась.

Смотрит —
а я перед ней стою.

В глазах ее — страх и радость.
Она не знает, что делать.
А то был другой поезд,
мой —

через десять
минут...

✦

Говорила:
на Севере Дальнем,
где года потекут, как вода,
от любви мы с тобой не устанем:
околеешь к чертям, —
холода!

Льдами
воды недавние стали,
надломилось журчанье минут.
Мы ль остыли? Иль ходики встали?
Лишь холодные годы
текут.



✦

В разгар любой поры —
и стужи, и жары —
тут сладко не бывает:
не снег, так комары
до слез одолевают.

И потому — любой
сезон другого лучше...
Не так ли нам с тобой:
то злоба, то любовь
обуревают души?..

ЛЕСНАЯ СВАДЬБА

Взял волшебник жену молодую.
Шел и думал дорогой к жилью:
«На закате ее околдую,
на рассвете ее — отравлю...»

Ночь сокрыла болотца, полянки,
леший звезды над лесом задул.
«Тишина — гробовая. Как в танке!» —
почему-то подумал колдун.

А супруга его молодая
следом шла по невидной тропе,
то ли песенку в нос напевая,
то ль в уста усмехаясь себе.

Вот пришли они в избу лесную,
на полати взбираются с ней,
слева — он, а она — одесную.
Но за ними я лезть не рискую,
 утро вечера
 мудреней!

Сам любви земной не чураясь,
я чужой не пытаю судьбы.
Вишь, как дым над избой, озираясь,
из печной улетает трубы,

как дрожит на коньке узорочье
и гудит избяное нутро?..

Нет, подобные брачные ночи
не сулят человеку добро!

...Ночь прошла,
но ни слуха ни духа,
гул борьбы не качает избу.
Извела старика молодуха.

А сама улетела.
В трубу!

ВРЕМЯ

*Не жду тебя. Не вспоминаю.
В стихах напрасных не зову...*

Не зови меня, не надо.
Исклевали воробьи,
словно гроздья винограда,
губы спелые твои.

Не зови.
Но если случай
выйдет — сердце отвори,
ипусти меня, и слушай,
и молчи, и говори,

и смотри без сожаленья,
но печально и светло
в осязаемое время,
что меж нами
протекло —
вдоль морщин у губ и глаз,
между,

но не мимо
нас.

ЗВЕЗДА

*Есть лишь любовь...
но в этом мире одиноком
она — угасшая звезда.*

Когда любви твоей звезда
совсем исчезла с небосклона
и умер свет ее,
когда
на миг ослеп я удивленно

и ринулся на край земли,
чтоб под широтами иными
искать в космической пыли
лучей останки ледяные, —

не мог поверить я:
чудес,
увы, на свете не бывает.
Ни там, ни здесь,
ни там, ни здесь
твоя звезда мне не сияет.

Но место,
где была она,
где больше нет ее в помине,
провалом черного окна
во мне зияет
и поныне.

Ручью по Речке

сохнуть надоело.
«Ну что ж?..» — подумал
и ушел в песок.
Летели дни. Река под солнцем млела.
И лишь к зиме, пожалуй, пожалела,
что берег жизни хоть и невысок,
да круче ей открытого предела,
за коим был он —

певчий голосок,
с которым в унисон когда-то пела,
а нынче вот течет оторопело,
лишь острый снег

слетает
на висок.

◆
При помощи славы,
посредством ли клавиш
того, кто не любит,
любить не заставишь.

Он ножку рояля
открутит, отрубит,
но раз уж не любит —
уже и не будет.

Я все это вывел
из собственных правил:
любилось — любил,
отлегло — не слукавил.

Что вышло, то вышло.
Судите, рядите,
но лучше

с роялем
от окон
уйдите!

УЛЕТАЮЩЕЕ РАСПЯТИЕ

Ну и ладно, ну и ладушки, —
разлюли-люли тоска!
Что простительно по младости,
стыдно в годы
мужика.

Жизнь, достойная воробышка,
ворону — не по плечу.
Прощевай, моя воронушка!
Проворонила.
Лечу.

Из ладоней вынув гвоздики,
кувыркаясь в вольном воздухе:
где земля? а небо где? —
улетаю.

На кресте.

...И все же,
признаться хочу,
всей грустью к тебе прикиая:
живи поспокойнее — чу! —
о господи,
злая какая...

В таежном зимовье,
в глухой стороне,
на руки голову положив,
я плачу от радости. Горько мне,
а значит, я снова жив.

И, стало быть, стих он —
девятый вал
любви. И в который раз
я снова, ребята,
все потерял,
кроме себя и вас.

А что еще надо сыну земли,
ребенку людских пучин?
Только б дороги его
вели
мимо теряющихся вдали,
надуманных
величин.

Только б смеялся и пел в груди,
от счастья едва живой,
свет его ключевой звезды —
свет
звезды
кочевой.

ВЕТРЯК

Как ни ветрено, ни гнусно
зябнуть в роли ветряка
в стороне от большака —
от больших дорог искусства, —
расставаться с жизнью грустно
и не хочется
пока.

До чего-то я не дожил,
что-то главное не смог:
ни в себе не подытожил,
ни подобным не помог, —
а уж вон готов Бульдозер
выбить почву
из-под ног.

Не за то ль, что в общем гаме,
в храме зависти и врак —
умный слишком иль дурак? —
всякой дряни в нарекание
все стою, машу руками,
одиноким,
как ветряк.

И была тебе охота,
и далась вся эта слизи!

Вон их сколько:

рать, пехота,
не объять, хоть окрылись!..

Ожидаешь Дон Кихота?

А они

перевелись.

ПОЧЕРК

Ровным почерком, спокойной
и уверенной рукой
пишет друг мой именитый
равнодушные
стихи.

Говорит: «А что ты хочешь?
Ты такой, а я — такой.
У меня своя система,
свой подход
и глазомер».

Я согласен. Я не спору.
Я уйду, сказав: «Привет!» —
равнодушный к его горю.
А ему
и горя
нет.

БОГУ — БОГОВО

Перешагнув порог
родительского дома,
ушел Илья-пророк
тропой дождя и грома.

И долго вслед ему,
дымясь тоскою жгучей,
остылый ко всему,
глядел Отец могучий.

И думалось отцу
беспутного пророка:
«А что я их пасу,
какого жду оброка

от сыновей моих,
взрастающих на воле?
Не я ли создал их
и, право, для того ли,

чтоб, рай в душе кляня,
бескрыло и убого
молились на меня
всего лишь
как на бога?

О чем переполох?
Да будь я трижды вечен,

но ведь и бог — не бог,
коль он бесчеловечен.

Блюдя авторитет,
остерегись оплошки:
не все то, может, свет —
что у тебя в окошке?

Достойно лишь ослов
жить волею чужою.
Стезя твоих сынов
да будет их стезею!..»

И этот монолог,
безбожеский немного,
как облегченья вздох,
проветрил душу
бога.

Привязан к небесам
всевышними делами,
он, может, рад бы сам
погарцевать с сынами

и — шоры с глаз долой,
сжимая плеть в деснице, —
промчатся
над Землей
в гремящей колеснице.

Но должность. Но дела.
Но дьявольские козни...
Вот так и жизнь
прошла.

О тяжести Господни!..



Найти границу, сопряжение
усилий грубого ума
с лихой игрой воображенья —
задача сложная весьма.

А проще ль выморочить, взвесить
их доли разные, их вклад
в то, что не радует, так бесит
не пылкий ум, так праздный взгляд?

Да и нужна ль о том забота,
чтоб, стих на взвеси разделя,
учить ли, уверять кого-то,
се — небо, мол, а то — земля,

мол, здесь перо мое резвится,
там — поле вспахивает зло
и, напряженное, лоснится
от пота трудного чело?

Не в расщеплении задача,
но и не в сопряжение суть,
а лишь в стремлении:
как дальше,
как глубже в душу
заглянуть...

АРИСТОТЕЛЬ

Платон мне друг,
а истина... чревата...
Пить иль не пить противоречья яд?..
Толпа сограждан ужасом объята,
мол, как же так? — прекрасные ребята,
а, глянь-ка, съестъ
друг друга норовят.

Платон мне друг,
не спорю я. Согласен
и с тем, что людям оба мы милы.
Но истине — плевать на похвалы,
и свет ее неистов, но прекрасен
под светом славы
и во мгле хулы.

♦
Я думаю, брат мой, не стоит
нам ставить друг другу на вид
счисление личных достоинств,
усилий, услуг и обид.

В табачном дыму заседаний,
в тумане заплечных бесед
подобной стезе оправданий
и вовсе названия нет.

Нас разное мучит и ранит.
У каждого собственный счет
к понятиям: вкус, темперамент,
как, впрочем, и — слава, почет.

Но в чем мы с тобою похожи,
так в том, что по краю земли
пусть в разное время,
а все же
след в след друг за другом
прошли.

И сходные в общем задачи
решаем на этом пути,
еще нам с тобою и дальше
пусть порознь,
а все же идти.

Пусть ринутся пурги навстречу,
пусть-злыдни нам каркают вслед —
прямому я злу не перечу.
Лишь нашей бы
косвенной речью
порой нам не застило
свет.

ВЕРШИНА

Двоюродные братья не по крови,
по родственному пламени в крови,
любовь друг к другу
мы перебороли
и дружбу — истерзали. И правы.

Но там,
где власть любви уже бессильна,
где дружбы обязательства слабы,
вновь и навек
нас породнит — вершина
единства мук и общности судьбы.

ТЕЛЕГРАММА

Приятель прислал телеграмму
красивую, как стихи.
Боже мой!

Отпусти мне его грехи.
Мертвые слухом не имеют сраму,
принаряжая чужую драму
в салоп
лирической чепухи.

Пусть будут как есть —
на слова лихи,
заливисты и игривы...
Давно уж не зерна ищут, а гривны
в навозе жизни
современные петухи!

...Стройны, товарищ, твои стихи,
да жаль, что в них чувства
кривы.

♦
Час духовного разорения,
разобщения близких душ...
Даже это стихотворение
смехотворно,

хотя бы уж
тем, что тщится
с кривой улыбкой
ниткой боли, едва живой,
сшить останки надежды зыбкой.
Шил, чего уж там. Не впервой!

Шили-штопали. Обманулись.
Расползлась, как ночной туман
по каналам приморских улиц,
правда юности.

Океан

жизни суетной и жестокой
измолот в шелуху слова.

До свиданья,

залив Застольный,
Откровенные острова!

До свидания в дали вьюжной
с сыновьями...

Но в той дали,
жизнь, прошу:
не минуй их дружбой —
пусть недолгой, пускай двуручной, —
одари ты их,
озари!

Войдет в мой дом досточтимый брат
по цеху, стезе, перу,
и я ему всем содержимым рад, —
будь проклят я, если вру.

Но полдень сник, уж в окне закат
зевает во всю дугу,
а гость елозит, юлит, — никак
понять его не могу.

Я золото мыл, аметисты искал,
из скал добывал агат,
а вот улыбки его оскал
не застолблю никак.

Знавал провидцев, и сам вещун,
край бездны доступен мне,
но глаз небесных его прищур
непостижим извне.

Шуршит его речь,
как в снегах капель,
как дождик весной в логу.
Но сколько воды дождевой ни пей —
не утолишь тоску.

Ходи. Входи, мой любезный брат!
Садись, я опять готов
глядеть, как ты топишь небесный взгляд
в мутном потоке слов.

Услышав, что я увлекаюсь футболом,
так сморщился — губы, как гузку, свело!
Он знает одно преклоненье: пред богом
искусства и — фм! — если зрит ремесло.

А я уваженье питаю к ремеслам,
ко всякому нужному людям труду,
которого плод нам не богом ниспослан,
а истинно добыт — в слезах и в поту.

«Футбол, — говорит, — извращение вкуса...»
Да полно! Пустые все это слова.
И сами мы знаем: футбол — не искусство,
но сколько же требует он мастерства!

Земные ребята, сыны ремеслухи,
к искусству с рожденья мы тоже не глухи,
но слез по нему
потому и не льем,
что мы у искусства в прихожей — не слуги:
молитв не читаем, поклонов не бьем,
стыдимся картинно заламывать руки —
немало искусные
в деле
своем.

ПРОВИНЦИЯ

Как ты мелка, провинция, о боже,
как честь свою задохлую блюдешь!
В толпе твоей незримым не пройдешь
и выделиться в ней
опасно тоже.

Ее гипертрофированный слух
скор на язык и легок на расправу.
Умри! — иль выбирай одно из двух:
вдыхать всю жизнь ее тлетворный дух
иль пить как мед
молвы ее отраву.

Сойди на нет, поникни головой,
да не болит коробка черепная
о том, что ты — увы — еще живой
и что она —

увы! —
всегда живая.

ОН И СЛАВА

Повстречались:

в ночь глухую,
серым утром, ясным днем.
Ждал увидеть в ней другую.
А она — другого — в нем.

Разошлись.

Еще не вечер!
И волнуются опять.
Нету сил дожидаться встречи:
долго, коротко ли ждать?

Сколько лет,
туманным светом
славы призрачной гоним,
он бежал — а слава следом,
он за ней, она — за ним.

Нет, казалось,
бесполезней
этой жизни второпях...
Он-то гнал за ней — помпезной,
а она за ним — в репьях,

он —
заранее счастливый
легким якобы житьем,
а она за ним — с крапивой,
а она вослед — с дубьем.

Он считал ее отрадой,
мчал, как в лавку за халвой...
А она была
 народной.
И не славой.
А молвой.

Вдруг дойдешь
до такого предела,
где лишь ужас — и нет ничего.
Мысли выстыли, сердце зальдело,
не расслабить ни душу, ни тело, —
словно пуля незримо летела
целый день
 у виска
 твоего.

Вышел в ночь. И тут же, за порогом,
провалился в бездну ненароком.

Бездна приняла его, как бездна:
равнодушно, полно, безвозмездно.

Ахнул он от страха и восторга —
так под сердцем сделалось просторно,

весело и жутко. Он летел
и затылком вечности касался,
сам себе Галактикой казался,
макромиром
в мире микротел.

...Удивленно стыли на пороге
до зари
его босые ноги.

Историю,
если вдуматься,
делают люди живые.
В том числе — наши знакомые.
И те, которые тужатся,
чтоб заслужить чаевые,
и — кто живут на законные,
так сказать,
трудовые.

Беспечные и рисковые,
молоденькие и старые,
друг друга в толпе толкая,
одним грубя, другим потакая,
под куполом

неподкупного

планетария

все мы с вами — История.
Знать бы только:
к а к а я?!

ДЛЯ СЧАСТЬЯ...

Для счастья людям нужно очень мало:
глоток любви, сто граммов идеала,
одежду, пищу, толику тепла,
наличие отдельного дупла,
но главное —

чтоб в нем

всего-всего
хватало!..



Человек,
оглядывавший горы
словно старый маршал на коне,
мысленно блуждавший в вышине, —
продавал на рынке помидоры
по нечеловеческой цене.

Сколько же вагонов помидоров,
ящичков с цветами и айвой
хваткой обнаженно деловой
затолкал он в эту синь просторов
над моей бесценной
головой?!

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

Пришел домой.
Любимая — играла
давным-давно заученную роль,
слегка импровизируя порой,
но в целом сохраняя и настрой,
и общий смысл,
и дух оригинала.

Ушел в партер.
И долго из угла
глядел, как тень привычная металась
от льда паркета — к пламени стола,
с хрустальной мишуры — на зеркала,
в провал балкона броситься пыталась.
И думалось:

«А ведь когда б не старость,
не ревности ее элементарность,
а страсть любви вожжей ее ожгла, —
великой бы актрисой
быть могла!..»

И ведь она
действительно — о боги! —
была достойна роли посложней.
То у нее подкашивались ноги,
то стан ее — Улановой стройней —
и впрямь как бы испытывал ожоги,
такие выгибая монологи,
что лучший мим —
дразнилка

рядом с ней!

Партер был тих.
Его не удивили
ни слез туман, ни блеск словесной пыли.
Курил и ждал, покорствуя судьбе,
довольный тем, что про него забыли:
«Ах, если б это все

я б тоже
да в водевиле —
аплодировал
тебе!..»



Ты не плачь, моя красивая, не плачь.
Настоящее от прошлого не прячь.
Не куплю тебе я перстень золотой
с горделивой бриллиантовой слезой.

Наше прошлое и проще, а прочней
в память врезалось не гранями камней
и не горсткой ледяного серебра.
Жили-были. Много видели добра

друг от друга и от множества людей.
Ты не плачь, моя счастливая, не лей
слезы горькие по злату-серебру.
Вспомни: жили не тужили на ветру,

крыши не было, а был над головой
звездный мир, недосыгаемо живой.
Это было выше счастья и удач,
ближе дачи, ярче золота. Не плачь!..

«Я не плачу, — вдруг ответила она. —
Я не плачу, но и дача нам нужна.
Двадцать лет жила с тобою, как во сне.
Я проснулась.

Нынче золото
в цене!..»

ВЫГОДА

Юный казак
из людишек Семена Дежнева,
ступив на Онандырскую косу,
может быть, почесал в затылке,
а может,
поковырял в носу.

А может быть,
свистнул во полоумную даль:
ах ты, мол, туды-растуды! —
и сел,
под зад подмостив пицаль,
окрай студеной
воды.

— Ау, касатик!

На ту косу
через триста десять (не раньше!) лет
козу в носу и я принесу
и, подле присевши, произнесу
модное в годы мои:
«Привет!»

Но лет через двести,
боюсь, что мой

потомок, придя сюда,
пожмет плечами:

«Ах, боже мой,
да что вы, братцы,—
айда домой,
какая вам
вы-года?!.»



В разгаре скрежета и гуда
у золотишников, в тайге
я повстречал однажды — чудо
на безмятежном стебельке.

Над валунами, на отвале,
ветрам решительным открыт,
цветок без имени и званья
смешно тарачился в зенит.

На взгляд ботаника — бесценен,
среди биоманов — нарасхват,
в пейзаже том,
как сивый мерин,
он явно был несовременен
и неуместен, это факт.

И сознавать мне было грустно,
что, виноватый без вины,
сей отпрыск чистого искусства
не знал
системы мер Прокруста,
не ведал золоту
цены.

Но полон дерзкого упрямства,
на грани часа своего,

он жил — как пел
и как смеялся
и был частицею пространства
и исключеньем
из него.

★
Золото на ковриках лежало.
Солнышко в нем тусклое дрожало.
Мелкий дождик сеялся из туч.
До смерти уставшие мужчины,
мы смотреть на эти золотины
не могли без ненависти.
Ключ,

над которым бились мы полгода,
не открыл нам клада — и колода,
в сущности, опять была пуста,
между тем как дерзкий этот ключик
назывался — черт! — одним из лучших
слов геологических:
Мечта.

Золото — не больше килограмма! —
знать не знало, что такое драма,
унывать не видело причин.
А на небе солнышко играло.
И надменно радуга взирала
на уставших до смерти
мужчин.

Промокли. Устали. Остыли.
Ввалились — и лед на усах.
Кровавые мальчики
медленно плыли
в слипающихся
глазах.

Минуту-другую курили,
тeлами вбирая зной,
слушая посвист
вселенской пыли
за дощатой
стеной.

Вповалку, вразброс, валетом,
в обнимку, спиной к спине —
легли. И я видел во сне,
что сплю я
и хочется мне
в городе гулком,
большом и светлом
спать
при раскрытом
окне.

ВЗГЛЯД

Гудит,
клокочет людское море.
В его согласном и стройном хоре
душа волнуется и поет,
покамест память не полоснет:
«Оно мне надо — чужое горе?!»
А там,
за фразой,
и он встает:

набычен,
словно из гущи стада
губастым взглядом на мир косит.
И страшно думать, что это — правда:
что наше горе ему не надо,
свое
при нас ему
не грозит...

Улыбка — танцора
с кинжалом во рту.
Полны разрушающей ласки
то душу сверлящие, то пустоту —
пугливо пытливые глазки.

На крик не сорвется. О стол кулаком
не грохнет в начальственном раже.
Такие стучать научились тайком,
не пачкая пальчиков даже.

И души они не ломают. Но мнут!
Сверкнет он улыбкой своею —
и слабый в коленках
двугорбый верблюд
склоняет
 угрюмую
 шею.

Не заслуга, быть может, а все ж
есть надежда подспудная, что ли,
что хоть в этих краях, а несешь
пусть частицу, но лучшей из нош —
сладкий груз всеобъемлющей боли;

что своюю негромкой судьбой,
погрузившейся в массы людские,
ты в снегах продлеваешь собой
колокольное эхо
России;

что вдали от проезжих дорог,
в стороне от столичного шума
для оседлых, бродяг и сирот
тихо теплится твой костерок —
всех веков
неподъемная дума.

Так согрей, всколыхни, взвороши,
перелей в неживое пространство
смутный гул неумной души —
той извечной российской души,
что в своем неприятии лжи
арифметике верст
 неподвластна.

СОЛОВЬЕНЫШ

На волне молодого задора
и души золотого огня
много всякого сора и вздора
упорхнуло в эфир из меня.

Но ни телом разбойным не властен,
ни поступкам своим не судья,
был я счастлив воистину счастьем
соловьеныша.

Труд соловья —

то уже мастерство вдохновенья,
сплав работы с актерской игрой.
Мне же было довольно для пеня
ощущения жизни самой.

Ах, давно уже не постреленыш,
в душных зарослях бытия
все придиричвей слушаю я:

не чирикнул бы мой

СОЛОВЬЕНЫШ

вороватым баском
воробья...

ПЕНАТЫ

Как удушливо в этом краю.
Понимаю: горят терриконы.
Паутина в доме, тараканы.
По соседству живут уркаганы.
Отвернусь

и спиною ловлю,
как, два кукиша спрятав в карманы,
кореш целится в душу мою.
Узнаю тебя, жизнь. Узнаю.

Как возвышенно в этом краю!
Пахнут яблони, астры, фиалки.
Поезда отдаленные гулки.
Разве стон их достоин охулки?
Что же я,

не в пример соловью,
о родимом своем переулке
столь нелестную песню пою?
Узнаю ли себя? Узнаю.

Как обыденно в этом краю.
Летний зной иссушил огороды.
Вдоль садов покосились ограды
и глядят

в ожидании правды,
за печатями скрытой семью,
на судеб мировых эскапады
и недвижимую

долю

свою.

★
Тишина на родимых могилах.
Под склоненными флагами ив
спят деды мои, руки сложив.
Кровь недвижна в натруженных жилах.
Тишина на родимых могилах.

Революция. Стройки. Война.
Не мои — ни беда, ни вина.
Но, как славы зовущее эхо,
смотрят в душу мою имена
современников

трудного
века.

Я СЧАСТЛИВ БЫЛ

Я счастлив был,
пока я мог дарить
все, что имел, без тени сожаленья —
достойным, да и тем, кто, может быть,
уже тогда страдал от ожиренья
ума и сердца.

То была пора
единства тела, духа и пера.

Я счастлив был,
пока я мог внимать
с глубоким придыханием и верой
и тем словам, которых понимать
еще не мог, должно быть.

Полной мерой
любви своей — платить я был готов
за то, что мне их вверили. Потом

пришла пора
сомнений и утрат.
Еще не охладев к самоотдаче,
стремленье к ней я был уже не рад,
и все постылей жить мне было дальше.
И сжался я

в затравленный комок:
перо — на ключ, а душу — под замок.

Но я был — Я,
пока мои мечты
в конце концов не пали с высоты
в земную грязь житейского сознания
с его тоской

по морю доброты,
пощады и взаимопониманья.
И вот она — как следствие — пора
тщедушия
и праздного
пера...

ДНИ

Просыпаться, засыпать,
вновь проснуться ненароком,
чтобы с ужасом узнать,
что уже и 45
там — за стрелкой, поворотом;

что веселый звон колес
с каждым днем все глуше в чаще
поцелуев, смеха, слез;
что устал твой паровоз,
сострадания просящий,
в тишину хрипящий: «SO-O-OS!» —

полю, небу и реке,
человечеству и этой —
в близлежащем тупике
затаившейся: «Хе-хе!»,
в плащ зловеший приодетой,

дуре с острою косою
(что ж, что тень ее банальна? —
в неизбежности реальна,
час настанет — идеально
долг она исполнит свой).

Просыпаться, засыпать,
перед сном шептать проклятья
той, чьи цепкие объятья
убаюкали опять:

служба, дружба, круг забот
чисто суетных, семейных,
неотложных, неизменных,
властно ухающих в борт:

«Дай! Послушай! Принеси!
Вынь! Положь! Уйди! Останься!..»
Господи, иже еси, —
образумь, уйми, спаси
душу, выведи из танца

манекенов и теней,
ибо косности косней,
чем безумство ум имущих,
нет на свете. Да измучит
кровь — от кроны до корней,
до глубин души дремучих —
дни

беспечности
моей!

Просыпаться... Засыпать...
Просыпаться.



Что ты смотришь так оторопело
в этих строк печальную струю?
Не приемлешь песенку мою? —
господи, да мне какое дело!
Мама моя плакала и пела,
вот и я — и плачу, и пою.

Видно, дело вовсе не в недостатке,
суть не в матерьяльном рубеже,
не в осанке гордой, а — в посадке,
в неделимом далее остатке,
в солевом осадке на душе.

Так уж на Руси моей сложилось,
с древности далекой повелось:
петь о том, что славно совершилось,
и о том, что снова не далось,

что, быть может, прадеду мечталось,
спать мешало дедову уму,
потому и отпрыску досталось
и да хватит

внуку
моему!..

МОСТ

В черном небе среди звезд
протекал ажурный мост.
Простенький. Без притязаний.
Пригородно-привокзальный.
Станция была живая.
Малая, но узловая.

Удивительно! Тесна,
мне запомнилась она
ощущением простора
между звезд и фонарей,
тишиною в море ора
паровозов и людей.

Ничего не сочиняю.
Вдумываюсь. Вспоминаю.
Ночь. Движение. Покой.
Звезд мерцающие грозди.
Первый раз я еду в гости
на деревню, — в мир другой.

Мама в кассе. Я продрог.
На мешке ее огромном
в уголке сижу укромном —
потрясенно одинок
и гляжу
на ручеек
между небом
и перроном.

ВЕТЕР ВЕКА

Ветром времени
нашего бурного века
сдуло шляпу с бездумной башки человека.

Тот,
схватившись за голову, времени вслед
заорал: «Как ты смеешь?!»
А ветер в ответ
прогудел,

удаляясь

в межзвездную

тьму:

«Чище думай!

Не то —

и башку отыму...»

Мир сомнений и мечты,
 окрыляющий меня,
 с миром прочной суеты,
 где мозолишь локти ты, —
 родственны,
 да не родня.

Ибо что меня гнетет
 или же,
 наоборот,
 сотрясает до корней, —
 то в согласии живет
 с гибкой логикой
 твоей.

Бесконечно мне важны,
 нескончаемо близки
 и дела моей страны,
 и тоска моей тоски.
 А твоя тоска — всего
 полость брюха твоего,
 спадывающий
 на пуп
 была
 чертов
 хулахуп.

Я был пожарным.
 Стыд кипел во мне,
 и было жить на свете неохота.
 Как вор какой, я вскрикивал во сне
 и вздрагивал при тени на стене,
 хоть понимал:
 работа есть работа.

Но было так
 до первого огня.
 Едва понюхав порошу пожара,
 тщеславие сбежало от меня
 и угрызенья совести — ни дня
 уж честь мою
 за фалды не держали.

Конечно, жаль, —
 нет подвигов за мной:
 не вынес я из пламени ребенка,
 не вытащил старушки ни одной.
 Зато я вынес
 крылья за спиной,
 да страх поправ,
 да знаю цену пота,
 да осознал, что всякая работа
 достойна
 благодарности
 земной.

Пока его жизнь колесила —
и сам он не ведал, поди,
какая подъемная сила
в беспечной теснилась груди.

Он жил —
ни пера и ни пуха!
Но легкое то мотовство —
не собственно мужество духа,
а только предтеча его.

И лишь оказавшись повергнут
всем ходом событий — во тьму,
вдруг сам изумился тому,
что новою мерою
мерит

маршрута недавнего груз:
союз баловства и потехи...
— Я был проходимец и трус! —
он охнул. И дрогнули, в эхе

сливаясь, и дали земные,
и темные глубы земли...
И легкие руки
впервые
на тяжкие струны
легли.

Из моего окна
гора видна большая.
Черна ее душа,
и сны ее темны.
А небо над горой —
стозарно. И без края
летит во все края
поток голубизны.

Я часто думал: вот
могучий дух природы,
два противуогня
ее извечных сил.
И влиться в эту мощь
покоя и свободы
в самом себе — себя
настойчиво просил.

Я плечи расправлял,
но, поднимая руки,
бессильно понимал,
что это не крыла.
Нет музыки, а есть
разрозненные звуки,
безмерные мечты,
химерные дела.

Но лишь глядел в окно,
все начинал сначала.
Ах, знал: не улечу,—
жуть за душу брала!

...Ну, а гора?

Гора
стояла и стояла,
и синь во все края
текла над ней,
текла...



ПЕРЕД ЛИЦОМ ГОР

Поднятия и провалы,
уступы и останцы...
Лишь с горного перевала
поймешь,
как земля горевала:
неизгладимы рубцы
неисчислимых отметин
незнамочисленных бед.
Перед величием этим
что твои страхи,
поэт?

Распльвчатоликий Янус,
бледный цветок земли!
Не волею обстоятельств
жизнь твоя устоялась,
песенки отцвели.
Суетность и всеядность
к этому
привели.

Истина стародавняя,
да вечно, увы, нова:
без радости и страдания
не исторгай рыдания,
не вороши слова.
Все твои причитания —
по ветру
полова.

Поднятия и провалы,
уступы и останцы...

А все-таки

перед вами
лишь я наделен правами
видеть во все концы:
сердцем лететь к вершинам,
разумом — в глубину,
пламенем, что по жилам,
всю ощущать
страну.

Необозримы выси.
Непостижим простор...
Но у души и мысли —
словно крепчают мышцы
перед лицом
гор.



Ударит дверь. Аукнет половица,
и снова тихо станет, как в лесу.
Окурок к циферблату поднесу:
не Муза ли изволила явиться,
ах боже мой, — о черт! — в седьмом часу.

А ведь когда я был моложе малость
и жизнь моя летела, а не шла,
она, бывало, с вечера являлась,
с кем зря и где ни попадя не шлялась,
не я ее —

она меня
ждала!

1

Вот жил человек.
И — ушел человек...
А кто-то его
не забудет вовек.

Хотел бы забыть,
да не сможет забыть!
Нет, вы представляете,
что может быть?

Ведь только подумать:
не день и не год! —
покойник живому
жизнь не дает.

И нет утешенья
в лесу и в дому
не всем на земле,
а тому — одному.

Он капли добудет.
Он вырубит свет.
Он всех позабудет,
а мертвого — нет.

2

Товарищ Покойный!
Да в чем же вопрос?
За что ж ты невинному
в душу-то врос?

Ну, умер, и ладно.
Отпет и прощен,
лежи себе смирно, —
живые при чем?

Ведь шутка ль — живого
от дел отрывать?
Ему врачевать,
и ему убивать,

и строить, и жечь,
и слова говорить, —
да мало ли что
в этой жизни творить!

А вдруг да ему,
улучая момент,
во имя твое
возводить
Монумент?..

3

А вы —
извините, —
товарищ Живой!
Да вы бы трягнули
седой головой

и все его штучки
из памяти — вон!
Бедь живы-то все-таки
вы, а не он.

Та пуля,
его погрузившая в тьму,
возможно, и впрямь
назначалась — ему.

Какие же могут быть
муки? Смешно!
Покойник? Так он вас
не помнит давно.

А память живых
коротка искони.
Да что они знают?
Что могут
они!

4

Живые! Товарищи!
В атомный век
на наших глазах
извелся человек.

Мы знали его.
Уважали его.
А вот предпринять
не смогли ничего.

Отсюда выходит:
по нашей вине

товарищ
отныне
на Той Стороне.

А та сторона —
это — Та Сторона!
К ней бдительность быть
неусыпной должна,

чтоб впредь перед смертью
никто не певал:

— Того!..
одного!..
я не сам
убивал...

1970 г.

КОМНАТА ЭХА

*...Вот тебе, девица, ключик,
вот тебе, милая, замок,
вот тебе, красивая,
вера да ум, —
иди к жениху!*

ПРОЛОГ

— Отойдите от зеркала. Оно искажает вас
и мир, перед которым стоит.
Оставьте в покое зеркало.
Оставьте в покое зеркало!

1

...В той углой комнате
на глиняном полу
кричало зеркало в багетовой оправе.
В углу стояла тумбочка
и столик
с расшатанной, скрипучей табуреткой.
А ты была тщедушной и тщеславной
в те времена
и в зеркало гляделась
при случае
сто двадцать раз на дню.

Прости меня за эту откровенность.
Никто тебя по ней не опознает,
а стало быть, покой твой не нарушат
годами убеленные стихи.
Те времена уже не повторятся.
В той комнате — уборная.

Артисты
народного театра
гримируют
друг друга в ней за час перед спектаклем.
Там зеркала теперь стоят иные,
а то давно разбилось,
и багеты
тетя Маша порубила на дрова.

Так вот о ней,
о комнате, в которой
вас было двое:
зеркало и ты.

До той поры,
когда ты появилась
в ее стенах (я думаю, ты помнишь
и этот год, и осень, и на рейде
расплывчатые тени кораблей), —
сперва в ней помещалась мастерская
сапожная,
потом радиоузел,
еще позднее — портовая сторожка,
а после, надо думать,
ателье.

Но это ведь не важно... Суть не в этом.
Все дело в том,
что осень та
была.

И ты была.
Ты в комнату влетала
усталая, взволнованная, злая,
присаживалась к зеркалу
и тут же
с ним начинала долгий разговор.

Ты говорила:
— Здравствуйте, принцесса.
Как прожили вы день,
как потрудились
на благо вашей Родины, народа,
кем увлеклись, кого разоблачили,
что вообще узнали
о земле?..

И тень твоя
из глубины зазеркальной
устало отвечала:

«День как день.

Не знаю даже, был ли он. Но были
какие-то пустые разногласья,
какое-то движение вдоль сердца,
железо, пламя, пустота и грохот,
конвейер лиц
и суতোлка встреч.
Был, правда, Вовка

(глуп, но симпатичен),

Андрей Андреич с пьяными глазами,
собрание, президиум, трибуна,
ну, а в итоге
снова — пустота...

А зеркало —
оно не возражало.
Богатое, глубокое, в багетах,
исполненных величия и спеси,
оно в тебя уверенность всеяло
всевидящей надменностью своей.

«О, будь, как я, —
оно тебе твердило. —
Не суетись. Не слушай посторонних.
Глядись в себя

и вслушивайся только
в сигналы подсознания своего.

Ты — божество.
Ты вся — над этим миром.
Все прочее в нем с тем и существует,
чтобы в тебя восторженно глядеться,
даваться диву, петь тебя
и славить,
и тот, кто это делает, — талантлив,
а кто сопротивляется —
дурак.

Не слушай окружающих.
В них зависть
черным-черна.
На кухнях коммунальных
они макают в сажу свои души
и тертым кирпичом
и черным перцем
оттачивают злые языки...»

2

Так ты жила.
И вот пришел однажды
на берег твоего уединенья
здоровый, независимый, красивый,
с манерами матроса
Капитан.

Ты помнишь,
как смеялся он громово,
как взвизгивала форточка на петлях
и резкий ветер в комнату врывался
и шторы надувал,
как паруса.

И зеркало,
оправившись от страха,
еще в нем клокотавшего, живого,
заговорило ласково с тобой:

«Забудь его.
Забудь, моя царица.
В нем та же суета и жажда славы.
И этот краб. И китель. И походка, —
все только бутафория,
а силы,
а силы — нет. И нету вдохновенья,
как нет во лбу
печати божества...»

И смолкла ты.
Глаза твои просохли.
Ты огляделась:
в комнате, как прежде,
все оставалось на своих местах.

Весь вышел дым.
Он в форточке открытой
едва теперь синел осколком неба.
Ты форточку захлопнула
и села
спиной к окну
и к зеркалу лицом.

И ты уже не слышала
ни ветра,
гудевшего над крышей обновленно,
ни тягостных гудков
— о расставанье
с землею
горевали корабли.

И может,
на одном из пароходов,
покинувших в ту ночь наш Крайний Север,
гудком протяжным,
голосом басовым,
надтреснутым от перенапряженья,
вот точно так же
сердце Капитана
тревожно горевало по тебе.

Ты все забыла.
Ты опять вернулась
в уютный мир обиженных иллюзий,
картонных драм
и самолюбования
в холодном, злом,
в торжественном провале
надменно-близорукое стекла!

ЭПИЛОГ

— Я же вам говорил..

1965 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| «Поэзия, ты — школа высоты...» | 3 |
| Чукотское | 5 |
| Акварели острова Врангеля | 6 |
| Акустика | 9 |
| Дом у лимана | 10 |
| «Форточку открываю...» | 12 |
| «О трассы Колымской прогонная мощь!..» | 13 |
| «А меня от всеобщего стресса...» | 14 |
| «Вот и вспыхнули в даях березы...» | 16 |
| «Предосенняя тайга...» | 17 |
| «Один — ушел в себя...» | 18 |
| Царь природы | 20 |
| Страшные фильмы | 22 |
| «Выйду в скучающий лес...» | 23 |
| «В этих снегах по плечи...» | 24 |
| «Зимним днем, когда в тиши...» | 25 |
| «Когда весенний снегопад...» | 26 |
| «Выходят валенки из моды...» | 27 |
| На заброшенном полигоне | 29 |
| «От первой платформы отходит поезд...» | 31 |
| «Говорила: на Севере Дальнем...» | 32 |
| «В разгар любой поры...» | 33 |
| Лесная свадьба | 34 |
| Время | 36 |
| Звезда | 37 |
| Река | 38 |
| «При помощи славы...» | 39 |
| Улетающее распятие | 40 |
| «...И все же, признаться хочу...» | 41 |
| «В тасжном зимовье, в глухой стороне...» | 42 |
| Ветряк | 43 |
| Почерк | 45 |
| «...И апофеоз Пиросмани...» | 46 |
| «Не забытья. Ни сна, ни покоя...» | 47 |

| | |
|--|-----|
| Богу — богово | 48 |
| «Найти границу, сопряженья...» | 50 |
| Аристотель | 51 |
| «Я думаю, брат мой, не стоит...» | 52 |
| Вершина | 54 |
| Телеграмма | 55 |
| «Час духовного разорения...» | 56 |
| Гость | 58 |
| К дискуссии об искусстве и... | 59 |
| Провинция | 60 |
| Он и слава | 61 |
| «Вдруг дойдешь до такого предла...» | 63 |
| «Вышел в ночь. И тут же, за порогом...» | 64 |
| «Историю, если вдуматься...» | 65 |
| Для счастья... | 66 |
| «Человек, оглядывавший горы...» | 67 |
| Семейный театр | 68 |
| «Ты не плачь, моя красивая, не плачь...» | 70 |
| Выгода | 71 |
| «В разгаре скрежета и гуда...» | 73 |
| «Золото на ковриках лежало...» | 75 |
| «Промокли, Устали, Остыли...» | 76 |
| Взгляд | 77 |
| «Улыбка — танцора...» | 78 |
| «Не заслуга, быть может, а все ж...» | 79 |
| Соловьиный | 80 |
| Пенаты | 81 |
| «Тишина на родимых могилах...» | 82 |
| Я счастлив был | 83 |
| Дни | 85 |
| «Что ты смотришь так оторопело...» | 87 |
| Мост | 88 |
| Ветер века | 89 |
| Хулахуп | 90 |
| Работа | 91 |
| «Пока его жизнь колесила...» | 92 |
| «Из мосго окна...» | 93 |
| Перед лицом гор | 95 |
| «Ударит дверь. Лукнет половица...» | 97 |
| Колесо памяти | 98 |
| Комната эха | 102 |